

ТВОЙ СЫН, РОССИЯ, ГОРЯЧИЙ БРАТ НАШ...

Василий Шукшин!..

При этом имени что-то всякий раз с такой силой вздрагивает в нас и обмирает, чего мы, кажется, в себе и не знаем. Сознание наше, когда мы обращаемся к нему за разъяснениями, отсылает нас к чувству, чувство робеет: нет, это не у меня, это где-то дальше. И, пожалуй, самое близкое, с чем рядом может быть поставлено это ощущение, — какая-то невольная и незатухающая вина перед Шукшиным, стыд, сравнимый разве что со стыдом за несдержанное обещание. Что-то мы не сделали после Шукшина, что-то необходимое и важное, в чем-то, за что он бился, мы его не поддержали. И это при том, что слава его теперь, спустя десять лет после смерти, стала не меньше, а больше, чем была, слава его по мере переиздания книг и появления нового поколения читателей и зрителей значительно расширилась и углубилась, установилась в надежном своем качестве, и те, кто склонен был объяснить популярность Шукшина его преждевременной смертью и сребдобольностью русской души, а то и определенной модой на Шукшина, вынуждены теперь призадуматься: дело, очевидно, в другом, нежели им представлялось...

Дело, разумеется, в другом, и не видеть, не понимать это с самого начала было, по меньшей мере, близоруко. Даже и слава его требует уточнения: она не есть нечто навязанное со стороны, когда от многократного назойливого склонения имя невольно застревает в зубах, — нет, она есть результат внутреннего отзыва каждой души на явление Шукшина, результат огромной, не часто случающейся в народе по отношению к художнику, любви к нему. Для этого мало быть замечательным писателем и замечательным актером и режиссером кино, для этого надо значить для множества читающих людей нечто большее.

М. А. Шолохов сказал о Шукшине:

«Не пропустил он момент, когда народу за-

хотелось сокровенного. И он рассказал о простом, негероическом, близком каждому так же просто, негромким голосом, очень доверительно. Отсюда взлет и тот широкий отклик, какой нашло творчество Шукшина в сердцах многих тысяч людей...»

В этих словах важнее всего замечание о «моментах, когда народу захотелось сокровенного», если понимать под сокровенным чувство правды и жажду правды. А это так и именно так и следует понимать. Ни о чем больше с такой болью и с такой уверенностью не говорит и не повторяет Шукшин, ничто не утверждает с таким постоянством на протяжении всех пятнадцати лет работы, как НАРОД и ПРАВДА. Говорит и утверждает, не боясь высоты и громкости этих понятий, их безликости и холодности, и добивается почти невозможного для художника: сближает человека с народом, дотягивается до правды искренностью и горячностью. Нам не дано измерить расстояния, на которые произошло сближение, но то, что оно произошло, мы должны были почувствовать.

«Нравственность есть правда,— писал Шукшин.— Не просто правда, а — Правда. Ибо это мужество, честность, это значит — жить народной радостью и болью, думать, как думает народ, потому что народ всегда знает Правду».

И вот как в сказке «До третьих петухов», когда Иванушка-дурачок, древний и вечный сказочный персонаж в русском фольклоре и плоть от плоти русского народа, отправляется по белу свету за справкой, которой было бы удостоверено, что он вовсе не дурак, так с первых же рассказов «чудик», этот неизменный герой Василия Шукшина, отправляется в долгий и нелегкий поиск за истиной, что есть народ и что есть правда.

И если бы «чудик» в той самой сказке оказался вдруг в собрании действующих там литературных героев, среди которых разгорелся спор по поводу судьбы Ивана-дурака, он мог бы в его защиту сказать собственными словами:

«— А в чем дело вообще-то. Да если хотите знать, почти все знаменитые люди вышли из деревни. Как в черной рамке, так смотришь — выходец из деревни. Надо газеты чи-

таты!.. Што ни фигура, понимаешь, так — выходец, рано пошел работать».

* * *

Появление героя Шукшина в начале 60-х годов было несколько неожиданным. Конечно, литература наша уже тогда далеко сошла с того правильного пути, когда для удобства школьного преподавания и ненатужистого усвоения герои писались и располагались по строго положительным и отрицательным линиям, но «чудик», вернее, его предшественник, и тут как-то не очень вписывался в литературное общество. Шукшин, надо полагать, и сам понимал, что герой его выглядит не по принятой форме и, то ли оправдывая, то ли защищая его, озглавил первые свои книги «Сельские жители» и «Характеры», а первый фильм — «Живет такой парень». Добавим сюда еще название повести «Там, вдали...», и хоть прием этот, быть может, не совсем верный, но соблазнительный, чтобы предположить, что Шукшин тем самым как бы с осторожностью говорил, что там, вдали где-нибудь в сибирском селе возможны такие странные характеры, может жить такой парень. Но очень скоро из справедливости автор приближает его и к себе, и ко всем нам, указывает на прямое родство его с нами и выводит на самое видное место: уже второй фильм Шукшина называется «Ваш сын и брат», одна из книг — «Земляки», повесть — «Брат мой». Нетрудно понять Шукшина, который, набрав, как писатель и режиссер, силу, заслужив аудиторию, готов теперь с присущей ему горячностью доказывать, что ничего странного в его герое нет, что не в пример многим из нас, житейски благополучным, душевно замороженным и духовно излукавленным, он человек живой, умеющий страдать и совершать поступки, и если душа его больна, если поступки его, с общепринятой точки зрения, несуразны, то вы попытайтесь, попытайтесь разобраться, почему это произошло, и спросите себя, не завидуете ли вы ему.

Так кто же он, «чудик», этот обозначенный критикой общим словом герой Шукшина, что в нем такого, что возбуждает в нас тревогу

и совесть и вызывает почти и потерянное, ностальгическое сочувствие к нему, человеку отнюдь не лучших правил и установлений?

Моня Квасов (рассказ «Упорный») не верит, что нельзя придумать «вечный двигатель», и занят его сооружением.

Степка из одноименного рассказа бежит из заключения, за три месяца до освобождения, потому что, как объясняет он, «сны замучили, каждую ночь деревня снится». Бежит и, отгуляв дома один-единственный вечер, снова уходит в неволю на годы. «Ничего... Я теперь подкрепился, теперь можно сидеть».

Митька Ермаков («Сильные идут дальше»), живущий подле Байкала, осознает себя полноценным человеком только в невероятных мечтах, представляя, например, будто он один знает средство против рака и вылечивает от него множество безнадежно больных, заигрываясь подобными представлениями до горячего «не в себе».

Непутевый парень Генка («Гена Пройдисьвет»), работая массовиком-затейником в санатории, после того как местный поэт неодобрительно отозвался о его песнях, забирается на вышку и выкрикивает (не поет, а именно выкрикивает дурноголосо) на потеху отдыхающим эти песни, а затем, чтобы подытожить свой концерт жирной памятной точкой, в одежде и с гитарой бросается с вышки в воду. Тот же самый Генка, приехав в родную деревню и узнав, что его дядя ни с того ни с сего, как кажется Генке, стал верующим, в попытках разобраться в его душе, и добиться, истинна ли эта вера в бога, доводит дело до драки с дядей.

А вот Костя Валиков («Алеша Бесконвойный») в долгой и трудной войне с начальством и женой добился желанной победы — в субботу и воскресенье не работать. «Что же он делал в субботу? В субботу он топил баню. Все. Больше ничего». Выпрягался, хотя в остальные дни был безотказный работник. «В субботу он просыпался и сразу вспоминал, что сегодня — суббота. И сразу у него распускалась в душе тихая радость».

Перечисление этих «чудиков» можно продолжать сколько угодно. Они в большинстве рассказов Шукшина, которые читаются то со

смехом, то с грустью, а чаще всего — с тревогой и которые все вместе создают пестрое и, однако же, целостное впечатление. Потому что все это отдельные штрихи, отдельные черты одного характера, который Шукшин писал от начала до конца и который в основном успел написать. Это характер человека свободного и самостоятельного по своей натуре, «бесконвойного», как Костя Валиков, всеми возможными способами и чудачествами старающегося отстаивать свое естественное право быть самим собой, иметь собственное мнение и до всего на свете доходить своим умом и своим опытом. В немалой степени подверженный стихии, случаю, дерганый, импульсивный, органически не переносящий никакой фальши, во имя чего бы она ни творилась, раздираемый противоречиями, страдающий от недостаточности яви и недоступности мечты, герой Шукшина при всем том как характер целен и органичен, ибо он не дает поставить себя в общий ряд, а живет отдельно и самостоятельно, как и положено жить человеку. И уже тем одним он вызывает у нас расположение к нему и беспокойство по отношению к себе.

Петр Верховенский говорит у Достоевского: «Самая главная сила, цемент, все связывающий, — это стыд собственного мнения. Вот это так сила! И кто это работал, кто этот «миленький» трудился, что ни одной-то собственной идеи не осталось ни у кого в голове. За стыд почитают».

Кстати привести здесь мысли и другого героя Достоевского, героя, от имени которого ведется повествование «Записок из подполья».

«Есть только один случай, только один, когда человек может нарочно, сознательно пожелать себе даже вредного, глупого, даже глупейшего, а именно: чтобы иметь право пожелать себе даже и глупейшего и не быть связанным обязанностью желать себе одного только умного. Ведь это глупейшее, ведь этот свой каприз и в самом деле, господа, может быть всего выгоднее для нашего брата из всего, что есть на земле, особенно в иных случаях. А в частности может быть выгоднее всех выгод, даже и в том случае, если приносит нам явный вред и противоречит самым здравым заключениям нашего рассудка о вы-

годах, потому что, во всяком случае, сохраняет нам самое главное и самое дорогое, то есть нашу личность и нашу индивидуальность».

И дальше:

«Чего же можно ожидать от человека, как от существа, одаренного такими странными качествами? Человек пожелает себе пагубного вздора, самой неэкономической бессмыслицы единственно для того, чтобы ко всему этому положительному благоразумию примешать свой пагубный фантастический элемент. Именно свои фантастические мечты, свою пошлейшую глупость пожелает удержать за собой единственно для того, чтобы самому себе подтвердить, что люди все еще люди, а не фортепианные клавиши».

И еще:

«Если вы скажете, что и это все можно рассчитать по табличке, и хаос, и мрак, и проклятие, так что уж одна возможность предварительного расчета все остановит и рассудок возьмет свое, так человек нарочно сумасшедшим на этот случай сделается, чтобы не иметь рассудка и настоять на своем. Я верю в это, я отвечаю за это, потому что ведь все дело-то человеческое, кажется, и действительно в том только и состоит, чтобы человек поминутно доказывал себе, что он человек, а не штифтик».

За сто с лишним лет, прошедших после Достоевского, чувство личности в человеке не только возросло (это-то было бы вовсе неплохо), но в силу многих причин приняло болезненные формы.

Чувство личности, чувство собственного достоинства у героя Василия Шукшина можно назвать иступленным.

Помните, Алеша Бесконвойный, тот самый, что добился топить по субботам баню, разжигает Алеша каменку, смотрит на разгорающийся огонь и думает: «Вот вы там хотите, чтобы все люди жили одинаково... Да два полена и то сгорают неодинаково, а вы хотите, чтобы люди прожили одинаково».

Итак, иступленное, горячее чувство личности, перехлестывающее через край благоразумия, — первая и, пожалуй, главная особенность, «странность» героя Шукшина, этого «чудика», делающая его, на принятый взгляд,

«чудиком». До него никто еще в нашей литературе не заявлял с таким нетерпением права на себя, никому не удавалось заставить слушать себя по столь внутреннему делу.

По делу маящейся души.

* * *

Ну вот, слово произнесено, одно из основных и кричащих слов Шукшина. Душа... А что такое душа? Почему литература все больше и больше берет на себя и смелость, и обязанность пытаться человека душой, которая где-то, в каких-то неведомых глубинах должна в нем быть и без которой, считается, ничто, никакое благополучие не принесет ему облегчения? Не оттого ли и эксплуатируется нещадно душа, что, не имея ни плоти, ни места, она недостижима, и обращаясь к ней — это все равно, что звать в пустоту, откуда дожидаться отклика нельзя, которая тем и устраивает нас, что нельзя, ибо не может уличить в ложнонаправленности. И пусть человек ищет душу; он наверняка не найдет ее, потому что никому еще не удавалось отыскать то, чего нет, но, занятый этими поисками, он отвлечен будет от более дурных и еще более пустых занятий, которые принесли бы ему один лишь вред. Не так ли рассуждают специалисты по душе, поминающие ее почем зря направо и налево? Не так ли оно и есть в самом деле?

Нет, не так. Направо и налево не надо, ничего хорошего это не даст. Но то, что душа, которую ни за что, ни за какой бок нельзя ухватить, значит для человека очень многое, сомнений вызывать не может. Значит, не как искомое, а как ценность, существующая в человеке изначально, но не всегда опознанная и вызванная к жизни; как сила, дающая ему преобразование в нечто иное, чем человек без души, в нечто более, скажем, походное — в том смысле, как должно осуществляться направленное движение человека к своей высокой цели и своим идеалам; как осуществленное призвание человека быть личностью; как знак желанной самообретенности. Душа — это и есть, надо полагать, сущность личности, продолжающаяся в ней жизнь

бессменного, исторического человека, не сломленного временными невзгодами.

Итак, к тому же мы и вернулись — к личности, автономности и самоценности человека. И не вернуться к этому, вспоминая душу, было невозможно. Обойти ее стороной тоже не удастся, потому что это значило бы, притворяясь глухим, не услышать и не понять Шукшина. Редко в каком рассказе (и не только в рассказах) нет у него упоминания о душе, чувства разлада с душой, желания вернуть то, что утвердило бы его героя в жизни и раскрыло бы ее смысл.

«Последнее время что-то совсем неладно было на душе у Тимофея Худякова — опостылело все на свете. Так бы вот встал на четвереньки, и зарычал бы, и залаял, и головой бы замотал. Может, заплакал бы» («Билетик на второй сеанс»).

«Ведь она же болит, душа-то. Зубы заболят ночью, и то мы сломя голову бежим... А с душой куда?» («Ночью в бойлерной»).

«По воскресеньям наваливалась особенная тоска (это начало рассказа «Верую»). Какая-то нутряная, едкая... Максим физически чувствовал ее, гадину, как если бы неопрятная, не совсем здоровая баба, бессовестная, с тяжелым запахом изо рта, обшаривала его руками — ласкала, тянулась поцеловать.

— Опять! навалилась.

— О!.. Господи... пузырь: туда же, куда и люди, — тоска, — издевалась над Максимом жена: она не знала, что такое тоска. — С чего тоска-то?

Максим Яриков смотрел на жену черными, с горячим блеском, глазами... Сжимал зубы...

— Давай — матерись. Полайся — она, глядишь, пройдет, тоска-то. Ты лаяться-то мастер.

Максим иногда пересиливал себя — не ругался. Хотел, чтоб его поняли.

— Не поймешь ведь.

— Почему же не пойму? Объясни, пойму.

— Вот у тебя все есть — руки, ноги... и другие органы. Какого размера — это другой вопрос, но все, так сказать, на месте. Заболела нога — ты чувствуешь, захотела есть — налаживаешь обед... Так?

— Ну.

— Но у человека есть также — душа! Вот

она здесь — болит! — Максим показывал на грудь. — Я же не выдумываю! Я элементарно чувствую — болит.

— Больше нигде не болит?

— Слушай! — взвизгивал Максим. — Раз хочешь понять — слушай! Если сама чурбаком уродилась, то постарайся хоть понять, что бывают люди с душой. Я же не прошу у тебя трешку на водку, я же хочу... Дура! — вдруг вовсе срывался Максим, потому что вдруг ясно понимал: никогда он не объяснит, что с ним происходит, никогда жена не поймет его. Ни-когда! Распори он ножом свою грудь, вынь и покажи в ладонях душу, он скажет — требуха. Да и сам он не верил в такую-то — в кусок мяса. Стало быть, все это — пустые слова. Чего и злить себя? — Спроси меня напоследок: кого я ненавижу больше всего на свете? Я отвечу: людей, у которых души нету. Или она поганая!»

Критик Лев Аннинский, писавший о Шукшине, называет это — «незаполненная полость в душе».

«И ведь отнюдь не материальный интерес, о котором столько кричат, движет героем, здесь-то он обеспечен, защищен и марку держит. Но он смутно догадывается, что при всей материальной укрепленности его душа заполнена чем-то не тем, чем-то подложным, и потому преследует этого человека вечный страх обмана, и отсюда его болезненная агрессивность, его мстительный прищур, а причина — все то же: незаполненная полость в душе. И невозможность терпеть это...»

«Незаполненная» — а чем ее заполнить? Где и как ее отыскать, подлинную-то душу, какой верой ее устроить и успокоить?

Одни смотрят на жизнь с удивленной оторопью: что это? куда я попал? зачем я здесь? Другие мучаются и мечутся, мечутся и мучаются, и нет, кажется, конца этим мучениям. Третьи, как Егор Прокудин в «Калине красной», время от времени устраивают этакий «праздник души» — разгул и разгон, когда Егор выбирает пачки денег на глупую и мстительную (мстительную себе, прежде всего) гулянку в районном ресторанчике. Пьют в рассказах Шукшина много, и это тоже слабые, никчемные, но доступные, проторенные попытки усыпить голодную полость и хоть на время,

хоть как-то освободиться от ее взыскующей тяжести.

Максим Яриков, который пробовал объяснить жене, что такое душа, идет в рассказе «Верую», чтобы унять ее, душу, к приехавшему на излечение в деревню попу — и вместе с попом, напившись спирту, устраивают они бесовскую пляску вокруг стола, выкрикивая: «Верую! Верую! Верую в авиацию, в химизацию, в механизацию сельского хозяйства, в научную революцию-у! В космос и невесомость! — ибо это объективно!»

Но эту веру в душу не поместишь.

«Оба, поп и Максим, плясали с какой-то злостью, с таким остервенением, что не казалось и странным, что они — пляшут. Тут — или плясать, или рвать на груди рубаху и плакать, и скрипеть зубами».

Это — страшно!

«Неужель под душой так же падаешь, как под ношей?» — спрашивал Есенин. «Падаешь», — отвечает Шукшин. Оно, это падение, выражается у него по-разному, не всякий раз доводится, так сказать, до горизонтального положения, до конечной точки падения, подменяется порой обманом или самоутешением, или принимает опять-таки болезненные формы, но суть одна: душа требует души, жить без души нельзя. Вспомним Николая Григорьевича Кузовникова из рассказа «Выбираю деревню на жительство». Николай Григорьевич, не молодой уже человек, кладовщик по роду занятий, каждую субботу ходит на вокзал и расспрашивает приезжих мужиков, откуда они и как там у них, выбирая якобы деревню, чтобы уехать из города. Он прекрасно понимает, что никуда не уедет и все его расспросы впустую, но «не ходить на вокзал он не мог — это стало потребностью».

Опять чудачество, прихоть? Да, но прихоть, вызванная той самой полостью, которая требует удовлетворения и заполнения. Это еще легкая, безобидная форма прихоти. У Броньки Пупкова («Миль пардон, мадам»), рассказывающем о покушении на Гитлера, она уже набирает надрывную силу, когда, вызванная, казалось бы, для утверждения души, она опустошает ее еще больше и разъедает еще сильнее. Можно это движение проследить и дальше: Спирьку Расторгуева («Сураз») эта

вышедшая из-под власти человека стихийная прихоть доводит до смерти. Ущербность и неполнота души не только приносят необъяснимые, на наш взгляд, страдания, но больше того — лишают человека устойчивости на земле и чувства собственной необходимости. Жизнь, не подтвержденная смыслом души, есть случайное существование; герой Шукшина с этой случайностью мириться не хочет, он выше ее, но он ощущает также и свою недостаточность и шаткость для жизни направленной, это мучает его и заставляет совершать поступки как бы вне себя самого и обычно во вред себе. Непредсказуемость, стихийность и последовательная нелогичность действия, и вообще тайно любимые в себе русским человеком качества, в «чудике» ничем не сдерживаемые, доходят до восторженно-разрушительного градуса, когда он сам себе и жертва, и палач.

Странное, однако, дело: у Шукшина, казалось бы, нет ничего, что напрямую говорило бы о близком обретении души его героем, и тем не менее в читателе это становится почти убеждением. Та боль и страсть, с какой он мечется в растерянности и тоскует по душе, превращает ее в нечто чуть ли не материальное, в нечто такое, что имеет место, где ее можно отыскать. На этот отчаянный призыв не откликнуться, кажется, невозможно.

Что касается места обитания души, его предположить не так уж и трудно. Это родина человека, земля его рождения, на первых порах дающая ему все, что необходимо для прочности в жизни.

* * *

Нельзя не заметить: насколько «чудик», этот расшатанный и больной характер, интуитивно стремящийся к цельности и здоровью, вызывает в нас поддержку и сочувствие, настолько женщина в рассказах Шукшина (в рассказах особенно) сочувствия, как правило, не заслуживает, и черты многих и многих героинь составляют для нас с вами фигуру далеко не симпатичную. Если бы дело было лишь в сочувствии или не в сочувствии, не следовало бы и заводить этот разговор, который

так или иначе задевает самолюбие женщины. Дело, однако, в большем — в состоянии и даже направленности характера, в направленности его к себе — каким должен быть человек, или от себя — каким он быть не должен. Дело в конечном итоге в результатах движения.

У Шукшина мало что было случайным, выходящим за границы его наблюдений и твердых воззрений, а уж это-то — отношение темпаче выношенное и выстраданное, что с годами оно не только не изменилось в сторону, так сказать, послабления — напротив, с годами оно окрепло, получило спокойное осмысление и доведено было до определенной философии. Рассказ «Одни» написан в самом начале 60-х годов, и Марфа, жена шорника Антипа, пожалевшая Антипу шесть рублей на балалайку, — это ангел небесный по сравнению с женой и тещей Вени из рассказа «Мой зять украл машину дров» и уж тем более по сравнению с женой Кольки Паратова из рассказа «Жена мужа в Париж провожала» (оба эти рассказа написаны через десять лет после первого). Колька Паратов, доведенный до отчаяния упреками и скандалами в семье, постоянным унижением своего человеческого достоинства, открывает в кухне газ и оставляет маленькой дочери записку: «Доченька, папа уехал в командировку». «Горе началось с того, что Колька скоро обнаружил у жены огромную, удивительную жадность к деньгам».

Жадность к вещам и деньгам, душевная глухота и недоброта, нежелание и неумение хоть сколько-нибудь понять живущего рядом с нею человека, вздорность, какая-то даже противоестественная агрессивность — вот качества, которые не просто замечаются, но, за малыми исключениями, прямо-таки выпирают из прекрасной половины, какую она предстает перед нами в мире Шукшина. Герой рассказа «Как зайка летал на воздушных шариках», приехавший из алтайской деревни в город к брату, рассказывает его больной дочери сказку и на сказочный же манер говорит: «Да-а, что ни бабочка, то баба-яга».

Шукшин не делает различия, в городе или в деревне — везде.

Можно смутиться одним противоречием во взгляде Шукшина на женщину. Все, что го-

рилось здесь, относится к женщине-жене. Женщине-матери у него совсем иное отношение, едва ли не противоположное. Мать для него — это любовь, преданность, доброта, умение понимать и прощать, природная мягкость и душевная стойкость.

Подвиг есть и в сражении,
Подвиг есть и в борьбе.
Высший подвиг в терпенье,
Любви и молитве. —

исал А. Хомяков.

И вот этим «высшим подвигом» женщина наделена у Шукшина в высшей же степени. Об этом свидетельствуют рассказы «Маринское сердце», «Сны матери», «Ванька пляшущий», «На кладбище» и др., об этом же вскрывает образ матери Егора Прокудина в «Алине красной». Но откуда же в таком случае берется мать, как не из жены, и каким образом из зла может произрасти добро, а неприятия — понимание и принятие? Не скон ли все-таки этот взгляд на жену в сторону и не есть ли он результат произвольного, нелогического разделения: мать—это одна, а жена—другое?

Но логику и причинность нетрудно отыскать и здесь. Все дело в возрасте. Мать старее жены, и эта разница в годах успела отразиться на сути и характере женщины не лучшим образом. Сманенная, сдвинутая со своего векового нравственного основания легкими посулами высоких идеалов, женщина не становилась, однако, достаточно прочно и в новом общественном назначении, потому что оно, надо думать, не совсем соединяется с ее женской природой, и встала так ловко, в таком неестественном и неустойчивом оказалась положении, что ни вперед, ни назад. Вперед — она инстинктивно чувствует опасность — нельзя, назад стыдно, движение произошло по всем параметрам, кроме того, свои соблазны, свои прелести есть в этом новом положении, которые притягивают ее самолюбью. Совратитель оказался стоиком: на этот раз женщина изменила сама себе. Отсюда и результат: бывшая всегломоральной твердыней семьи, воспитательницей и духовной учительницей детей своих, протвицей и миротворицей, женщина, ока-

завшись в условиях нравственной неустойчивости, если и не превратилась в этих качествах в свою противоположность (до этого, конечно, не дошло), но и отклонилась от них достаточно далеко.

Разумеется, упрек этот, относимый к женщине в целом, как общественному и нравственному характеру, нельзя адресовать всем женщинам без разбору, но все ближе и ближе, кажется, к тому, чтобы сказать: то, что прежде было правилом, становится исключением, а что было исключением, превращается в правило. В нашем общем моральном смещении женщина в силу своего более подвижного, чуткого, по сравнению с мужским, и менее закаленного, менее осторожного к внешним изменениям характера выдвинулась вперед, и отрыв этот, сам по себе незначительный, но ощутимо опасный, горько сказывается на ее натуре. Издавна соблазнительная для женщины того высокого общественного значения была впопыхах надета ею наизнанку и больно отразилась на природно-человеческих качествах. Наши хлопоты не о том, конечно, чтоб знала свое место и из кухни да из семьи никуда, это было бы чересчур неверно и грубо, а о том, чтобы не забывала и не справляла как придется главную и незаменимую свою важность в обществе по скреплению семьи и воспитанию детей.

Быть может, самое трудное и выстраданное выражение, как не завершение, находит у Шукшина этот «женский» вопрос в рассказе «Страдания молодого Ваганова». Молодой следователь Ваганов ведет там, в рассказе, довольно обыкновенное, по нашим понятиям, дело: жена, баба ловкая, развратная, хитрая, пытается избавиться от мужа, человека уже пожилого, немало покарябанного жизнью, подает на него, воспользовавшись скандалом в семье, в суд. Ваганову этот человек (по фамилии Попов) нравится своей бесхитростностью и откровенностью, и он пытается спасти его от суда. Однажды между ними происходит такой разговор.

«— Я так скажу, товарищ Ваганов,— понял наконец Попов.— С той стороны, с женской,— оттуда ждать нечего. Это обман сплошной. Я тоже думал об этом же... Почему же, мол, люди жить-то не умеют? Ведь ты погляди:

что ни семья, то разлад. Что ни семья, то какой-нибудь да раскосяк. Почему же так? А потому, что нечего ждать от бабы... Баба, она и есть баба.

— На кой же черт мы тогда женимся?— спросил Ваганов, удивленный такой закоренелой философией.

— Это другой вопрос.— Попов говорил свободно, убежденно — правда, наверно, думал об этом.— Семья человеку нужна, это уж как ни крутись. Без семьи ты — пустой нуль. Чего же мы тогда детей так любим? А потому и любим, чтоб была сила — терпеть все женские выходы.

— Но есть же нормальные семьи!

— Да где?! Притворяются. Сор из избы не выносят. А сами втихаря... бушуют.

— Ну, елки зеленые! — все больше изумлялся Ваганов.— Это уж совсем... мрак какой-то. Как же жить-то?

— Так и жить: укрепиться и жить. И не заниматься самообманом. Какой же она друг, вы что? Спасибо, хоть детей рожают... И обижаться на их за это не надо — раз они так сделаны. Чего обижаться?— В правде своей Попов был тверд, спокоен. Когда понял, что Ваганов такой именно правды и хочет — всей, полной, — он ее и выложил.

Причина не в том, конечно, что «так сделаны», и едва ли Шукшин полностью разделяет здесь точку зрения своего героя; вероятней всего, он умышленно дает ее как крайность, как своего рода наживку, чтобы вызвать со стороны женщины протест, но и заставить ее взглянуть на себя внимательней и строже, отыскивая по справедливости принадлежащее ей место. Она и сама, надо полагать, чувствует, что оказалась в разлуке с собой, что она не та, кем собиралась быть, и не там, куда собиралась идти в предоставленной ей свободе. Природное чутье, которое всегда было развито в ней больше, чем в мужчине, не может ей этого не подсказывать. Не здесь ли и следует искать причину ее нервозности и апломба, в котором легко рассмотреть растерянность и страх за свою судьбу, равно как и за судьбу того нелегкого вожа, который извечно тянула женщина и из которого она ныне выпряглась. Оглядываясь на него, она не может не страдать от его за-

брошенности — от неуютности и сиротливости в семье, polegавшей и числом, и тщанием, куда она судорожно набегаает, чтобы, накричав и приласкав в спешке, снова оставить ее с торопливыми распоряжениями до следующего набега.

Добиваясь значительной и возвышенной роли, которую она готова играть в жизни, женщина не учла, что она, эта новая роль, возможна лишь в соединении с прежней и под началом прежней, составляющей ее человеческую основу, а не в освобождении от нее, не в логическом решении задачи, что пункта Б можно достигнуть, только покинув пункт А.

* * *

Никому, кто пытается говорить о Шукшине, этого вопроса миновать нельзя, последнего вопроса Шукшина, который на пределе физических и нравственных сил, как стон, как отчаянный вскрик, прозвучал в рассказе «Кляуза» — «Что с нами происходит?» Через месяц после того, как была опубликована «Кляуза», Шукшина не стало, и вопрос этот так и остался с нами, остался не только не решенным, а, напротив, окрепшим за последние годы и, так сказать, возмужавшим.

Пересказывать «Кляузу» нет надобности, это документальная запись случившегося с автором в больнице, когда женщина-вахтер, человек в своем служебном положении маленький, с соответствующими этому положению правами, воспаряет в своем требовательном хамстве на такие высоты, такую набирает силу и власть, что ни унять ее, ни понять ее никакими доводами благоразумного смирения невозможно. Шукшину это показалось пределом, он пишет: «Не знаю, что такое там со мной случилось, но я вдруг почувствовал, что все — конец. Какой «конец», чему «конец» — не пойму, не знаю и теперь, но предчувствие какого-то очень простого, тупого конца было отчетливое».

Но мы-то ныне знаем, с высоты ли, из глубины ли своего сегодняшнего опыта, и как сторона, которая терпит от хамства, и как сторона, которая допускает хамство, — знаем мы, что то был далеко не предел, что, миновав предел, хамство вышло на новые просторы.

Больше десяти лет подряд обличал Шукшин

главных носителей хамства, называя их с удивительным постоянством по именам: чиновник, продавец и уличный хам, т. е. хулиган, преступник от хамства, носящий на себе, в облике своем печать как бы врожденного хамства, возведенного в единственный закон жизни. Даже и не обличал их Шукшин, это не то слово, как истинный художник ничего он никогда напрямую не обличал, но всякий раз, встречаясь в работе своей с обстоятельствами, тогда по жизненной правде не миновать хамства, он, как боец при встрече с собственным врагом, внутренне напрягался, выражаясь его же языком, «взвинчивался» и не хотел, не мог обойти его спокойно стороной. Он и за рабочим столом ощущал себя бойцом и здесь до конца переживал состояние стычки и драки — это легко почувствовать по напряжению, по накалу его прозы, когда строки, как оголенные провода, бьют избыточным током человеческой боли. Не он уже выводил их, эти строки, и тем более не отыскивал, гуляя в том заповедном уголке, который мы называем вдохновением, — это они владели им и водили его рукой, они, торпясь, требовали выхода и свидетельского голоса.

Итак, чиновник, продавец и уличный хам... «Чудик уважал городских людей. Не всех, правда: хулиганов и продавцов не уважал. Побивался» (рассказ «Чудик»).

«Боюсь чиновников, продавцов и вот таких, как этот горилла... псих с длинными руками, узколобый...» («Боря»).

«Как же так? До каких пор мы сами будем помогать хамству?.. Что за манера? Что за проклятое желание угодить хамоватому продавцу, чиновнику, просто хаму — угодить во что бы то ни стало! Ведь мы сами расплодили хамов, сами! Никто их нам на завез, не забросил на парашютах» (рассказ «Обида»).

Это уже и объяснение — конечно, не полное, возможное лишь в ткани художественного сказывания, но и не пустяковое, однако же, объяснение, почему процветает хамство.

И действительно, на пережиток проклятого прошлого мы его по привычке свалить не можем. Не выйдет. Верно, хамство и всегда-то присутствовало в богатом букете черт русского на-

ционального характера. Было хамство, но прежде оно было стеснено ограничительными рамками и пробивалось вне закона и морали, представляло собою один из видов нравственного уродства, теперь же, продолжая внешне находиться вне закона и морали, на деле, воспользовавшись попустительством, оно запустило корни в основание этих понятий и из способа существования индивидуального расширилось и расцвело, заговорило на равных правах с другими человеческими качествами и стало извинительной слабостью, заурядным явлением.

Хамство чиновника... Оно происходит от духовного, прежде всего, несоответствия человека своему чиновному месту, от искажения духа и буквы служебного положения, когда служение превращается в услужение и самообслуживание, от гражданской неполноценности, от нетвердости, скачкообразности общественных распоряжений и благодушия общественного возмездия. Искусный в бюрократической грамоте, хорошо зная силу справки, которую он выдает, чиновник вырастает в собственных глазах в огромную фигуру, вольную казнить или жаловать: поставить печать на пустяковую справку сегодня или заставить ходить за нею месяц подряд. Надо оговориться: хамство чиновника — это не обязательно грубость, издевательство, оскорбления, как мы привыкли понимать хамство, — нет, в кабинетах оно нередко воспитанно, нравоучительно, как бы даже благожелательно, но оно хамство уже одним унижительным положением, в которое ставится здесь человек.

А уж из кабинетов при открытых дверях хамство широко шагнуло на простор и нашло за прилавком родную для себя душу — продавца. Под продавцом следует, очевидно, рассматривать всю сферу нашего общественного обслуживания, но, поскольку, в этой сфере мы чаще всего вынуждены встречаться именно с продавцом и больше всего терпеть именно от него, то он и назван как конкретный носитель среднего и самого распространённого вида хамства. И правда, в лице продавца оно отыскивало для себя идеальные условия, всю сумму удобств: во-первых, весьма невысокая общая культура, извращенное по-

нимание наших отношений с ним, высмотревшее в этих отношениях лишь нашу зависимость от него, и, во-вторых,— толпа по другую сторону прилавка, толпа зачастую возбужденная и требовательная, жертва дефицита, не всегда способная вовремя распорядиться своим здравым смыслом,— огромное поле и благодатная почва для хамства.

В конце концов все можно объяснить, все-му найти причины — и хамству чиновника, и хамству продавца, и уличному хамству — и согласиться можно с этими причинами, но нельзя согласиться с самим явлением. Тут уж ни сил, ни воображения не хватает, чтобы согласиться, принять и со злым удовлетворением приговаривать из обслуживающего хамства репертуара: «То ли еще будет, то ли еще будет!»

Хамство есть способ утверждения личности. Так считалось всегда. И ведет оно к разрушению личности. Когда человек не умеет проявить себя как личность иным образом, он обращается к животным началам и находит, по-видимому, в этом, несмотря на протестующий голос совести, какое-то удовлетворение. Другими словами говоря, хамство есть признак неразвитости, несостоятельности личности или ее деградации. Но это — когда речь идет о проявлении хамства со стороны отдельного человека или отдельных людей...

Нет, не так прост шукшинский вопрос: «Что с нами происходит?»

Глеб Капустин в рассказе «Срезал» являет собой удивительный пример того, как могут быть усвоены уроки демагогии и пустогоговения. Он оказался способным учеником и в споре с городскими людьми, за которыми до недавних пор оставалась привилегия красноречия, показывает прямо-таки фигуры высшего пилотажа в навязанном им же словесном поединке, когда слово опустошено полностью.

Дошло, кажется, до края: демагогией овладел так называемый простой человек...

Бригадир Шурыгин (рассказ «Крепкий мужик») не по чьей-нибудь, по собственной инициативе разрушает стоявшую в родном селе старинную красавицу церковь. Разрушает несмотря на возражения, на уговоры и слезы односельчан, в том числе матери и жены, не-

смотря на угрозы в каре небесной и земной. Ничто не подействовало: свалил «крепкий мужик» Шурыгин с помощью могучей нынешней техники церквушку, сел на мотоцикл и с песней покати́л отмечать это событие.

И тут предел. Шурыгин также оказался способным и памятливым учеником: предмет преподавания изменился, а он на всю жизнь усвоил тот, прежний, который и впитал в себя как непреложный закон действия.

А нам представлялось, что все это еще далеко, не скоро. Оказалось — аукнулось. Оказалось — при нас.

Вот что с нами происходит.

* * *

И тут, после этой тоскливой ноты, пора снова вернуться к словам Шукшина, которые уже приводились:

«Нравственность есть правда. Не просто правда, а — Правда. Ибо это мужество, честность, это значит жить народной радостью и болью, думать, как думает народ, потому что народ всегда знает Правду».

А может быть, нет оснований для такой уверенности? Что есть ныне народ и что есть правда? Не слишком ли стерты и размыты слезами умиления эти понятия, не слишком ли много всякого, порой несовместимого, они в себя вмещают? Так ли уж знает народ правду?

Народопоклонство — тоже русская черта, но холодное и бездушное обожествление народа никогда и ничего утешительного к его судьбе не добавляло. Шукшин должен был это знать, и он не стал бы подставлять еще одну возвышенную и распычатую фигуру из своих громких слов к памятнику, и без того переполненному подобными фигурами, если бы не был уверен в их реальности. С другой стороны, он не стал бы произносить эти слова в честь Глеба Капустина, бригадира Шурыгина и множества других, похожих на них, по своей многочисленности неотделимых, казалось бы, от тела народа.

Поэтому, говоря о народе, необходимо сразу разделить понятия. Есть НАРОД как объективно и реально существующая в каждом поколении физическая, нравственная и духовная основа нации, корневая ее система, сох-

ранившая и сохраняющая ее здоровье и разум, продолжающая и развивающая ее лучшие традиции, питающая ее соками своей истории и генезиса. И есть народ — «в широком смысле слова, все население определенной страны», как мы читаем в энциклопедии. Первое понятие входит во второе, существует в нем и действует, но это не одно и то же. И когда Шукшин с уверенностью говорит, что «народ всегда знает правду», он имеет в виду душу и сердце народа, здоровую, направляющую ее часть, а когда Федор Абрамов обращается с известным письмом к односельчанам, упрекая их в нерадивом хозяйствовании, он не НАРОДУ адресует свои справедливые упреки, а населению, которое составляет жизнь и труд родного ему поселка. И составляет, кроме того, часть всего народа — как населения.

Тысячу раз прав Шукшин: «Народ всегда знает правду». Ибо то и есть народ, что живет правдой, как бы ни тяжела была эта ноша, то и есть правда, что составляет первооснову и первосмысл этого понятия, не подверженную духовной ампутации истину о человеке и его жизни. Не голую, разумеется, не чистую и формальную, а соотнесенную со временем — какова она есть.

Конечно, это не полное, это лишь нравственное определение народа, нравственное искомое его сути. Но сейчас оно, нравственное, самое важное. А определение правды может быть только нравственным и никаким иным. Народ, надо полагать, не только то, что уже сегодня живет правдой, но и то, что в исканиях и блужданиях своих, расположено к правде, жаждет ее и примет ее со временем, что в беспокойстве и сомнениях неуверенно расшифровывает в душах и памяти своей заложенные там многими поколениями духовные знаки.

«Не люби ты меня, а полюби ты мое — вот что вам скажет народ, если захочет увериться в искренности вашей любви к нему», — это известные слова Достоевского.

Не ахти, казалось бы, какое достижение, какая победа, одержанная Алешей Бесконвойным, — всего-то добился субботы для бани! — не столько тут, на трезвый взгляд, воли, сколько блажи, но посмотрите, как меняется

и облагораживается человек: «Последнее время Алеша стал замечать, что он вполне осознанно любит. Любит степь за селом, зарю, летний день... То есть он вполне понимал, что он — любит. Стал стучаться покой в душе — стал любить».

Невелика победа, но и то давай сюда, и то сгодится, чтобы сохранить в себе человека и отстоять душу. Движение, пусть маленькое, слепое, инстинктивное, однако же, произошло — движение в благодатную, родную для человека сторону.

Моня Квасов, тот самый Моня, который изобретает вечный двигатель (рассказ «Упорный»), вскакивает однажды среди ночи, делает чертеж, и от уверенности, что получилось, что добился своего, редкое снисходит на него настроение: «Ничего вроде не изменилось, но какая желанная, дорогая сделалась жизнь. Ах, черт возьми, как, оказывается, не замечаешь, что все тут прекрасно, просто, бесконечно дорого».

И от ложного вроде бы толчка «вечный двигатель», но и тут начало движения к лучшему в себе, к обретению духовной воли и духовной красоты.

И Генка Пройдисвет из одноименного рассказа пристает к дяде не потому, что его возмущает вера дяди в бога, а потому, что не уверен он в этой вере и боится, не ударился ли дядя из неприятия одной лжи в другую.

«...— Дядя Гриша, милый, ну зачем же ложь-то? Ведь ты же мужик, крестьянин, труженик, ну зачем же ложь-то? Как же жить-то, люди?!— Гена скривился, заплакал... Но он не злился на слезы, они только мешали ему, он их торопливо смахивал ладошкой.— Как же нам жить-то?! Когда — раз, и соврал, ничего не стоит. А?.. Ты меня упрекаешь, все упрекают: зачем институт бросил? Не хочу врать! Раз я не чувствую, что мне это позарез надо, что же я буду притворяться-то? Мне без диплома тоже интересно жить. Но почему же... Эх!.. Я же думал, ты не способен на ложь — вообще, зачем это мужику? Мало на свете притворных людей? Куда же мне теперь идти прикажете? К кому? Бесстыдники, вот так и даете пример... Ведь так же все рухнуть может!»

И затем, после драки:

«...— Горько, горько, — говорил Генка, сплевывая сукровицу. — Ах, как горько!.. Речь идет о Руси! А этот... деляга, притворяться пошел. Душу пошел насилловать... уважения захотел. Врать начал! Если я паясничаю на дорогах, — Генка постучал себя с силой в грудь, сверкнул мокрыми глазами, — то я знаю, что за мной — Русь: я не пропаду, я еще буду человеком. Мне есть к кому прийти! — Генка закричал, как на базаре, как на жадную бесовестную торговку закричал, когда вокруг уже собрались люди и уже все равно и не стыдно кричать. — Мы же так опрокинемся!»

Вот это понимание, эти золотые слова о том, что мужику незачем врать, пагубно участвовать во лжи, эта истовая вера в Русь и дают нам право на самую большую надежду в судьбе своей родины и народа. И оттого, что сказаны эти слова таким непутевым внешне, бесшабашным, неустроенным в жизни парнем, как Генка, — крепче уверенность, что духовная твердыня народа там, в глубинах народного сознания, находится по-прежнему в крепости и силе.

«Воля» — любимое слово, любимое понятие Шукшина, встречающееся у него буквально всюду. Не казенное «свобода», а близкое человеку, родное русское «воля». «Я пришел дать вам волю» — называется роман о Разине. Свои самые главные, глубоко выстраданные мысли о России и о судьбе ее вложил он в этот роман и до последних дней мечтал вложить в фильм, чтобы сделать их видимыми и яркими. Потому у Шукшина и терпит поражение народный герой и заступник Стенька Разин, что не верит он до конца в мужиков и начинает опасаться их, а затем и предает их под Симбирском, отказывается от правды мужицкого философа и мудреца Матвея Иванова.

Матвей Иванов, Фрол Минаев и Степан Разин — это три ипостаси русского характера: в лице Фрола Минаева — разумный до определенных пределов протест, а на деле разумное послушание, выливающееся в долготерпение; в лице Степана Разина — постоянная готовность к самопожертвованию, стихийность, даже разбойность по отношению к себе; и в лице Матвея Иванова — народная основа и

народная правда, которые много и тяжело страдали как от чужих, так и от своих и которые вопреки всем явным и тайным врагам сохранили и сохраняют Россию.

Памятный разговор происходит между Фролом Минаевым и Степаном Разиным, когда Разина, связанного по рукам и ногам, везут в конце романа в Москву:

— Ну, а чего ты хотел-то, Степан?

— Хотел дать людям волю, Фрол.

— А чего из этого вышло?

— А чего вышло? Я дал волю, — убежденно сказал Степан.

— Как это?

— Дал волю. Берите.

Не может быть никаких сомнений: речь идет о духовной воле, о внутреннем раскрепощении человека, об изгнании из себя раба и осознании своей личности. В этом смысле Степан Разин сполна выполнил свою задачу: он действительно дал людям волю. Размахом поднятого им казацкого и мужицкого бунта он показал возможности народной силы и внушил народу, несмотря на поражение восстания, великую веру в себя. Если до того народ и батюшку-царя славил, не смея поднять вверх глаза, то после того он и под плети ложился с гордой душой.

Для Шукшина народ — это, прежде всего, общность крови, имеющей тот же, что и в другом народе, но и не тот состав, отличающийся от другого народа историческими и этническими особенностями и духом породившей его земли. В долгой и сложной своей судьбе народ неминуемо проходит и через болезни, и через сомнения, и испытания, и все это в определенном смысле даже может способствовать его нравственному очищению и гражданскому возбуждению. Нет в свете таких бед, которые не в состоянии был бы превозмочь народ, если он правильно, в соответствии со всем ходом его исторического движения и духовного согласия, организован и нацелен. И только одно может иметь для любого народа самые тяжелые и непоправимые последствия: самодовольство поколения или нескольких поколений, забвение корней своих, сознательный или бессознательный разрыв с многовековым опытом прошлого, ведущие через последующие связи к утере на-

ционального чувства и исторической памяти, к разобщению, обезличенности и безродности. Тогда и народ — население, и родина — место жительства и приписки, тогда мы перестаем слышать токи одной крови в другом человеке и остаемся одни. Глухота к ближнему грозит затем общей глухотой и вседозволенностью, человек принимает себя за случайность и уповает на случайность, случай превращается у него в судьбу.

«Чудик» у Шукшина и есть тот самый характер, тот самый человек, который не выдерживает бесприютного одиночества и вслепую, неуверенно и судорожно, ищет пути, чтобы быть вместе с народом и из холодного понятия вернуться в живую его плоть, чтобы, не довольствуясь ценностью физического существования, получить духовное значение. Свобода, за которую так ратует человек, в людях, не имеющих общей и выверенной цели, ведет к уродству. По-настоящему свободна и автономна личность только в народе, только там ей просторно и вольно, в нем, в неискривленном и продолжающемся пути его находится она свой смысл и вечность.

Незадолго до смерти Шукшин писал:

«Русский народ за свою историю отобрал, сохранил, возвел в степень уважения такие человеческие качества, которые не подлежат пересмотру: честность, трудолюбие, совесть,ливость, доброту... Уверуй, что все было не зря: наши песни, наши сказки, наши неимоверной тяжести победы, наше страдание — не отдавай всего этого за понюх табаку. Мы умели жить. Помни это. Будь человеком».

«Будь человеком»... Все, что сделано Шукшиным в искусстве, освящено у него этим требовательным понятием, этой страстью и этой болью, которым он заставил внимать всех — кто умеет и не умеет слушать. Не было у нас за последние десятилетия другого такого художника, который бы столь уверенно и беспощадно врывается во всякую человеческую душу и предлагал ей проверить, что она есть, в каких просторах и далях она заблудилась, какому поддалась соблазну, или, напротив, что помогло ей выстоять и остаться в верности и чистоте. Читателем и зрителем Василия Шукшина была и остается вся Россия, от самых высоких умов до самых падших душ; его талант — это тревога, отчаяние и вера всепроникающей совести, ищущей оставленные ею в каждом человеке следы.

И вот в этом-то — в предельной напряженности слова и объединяющей его силе — мы, кажется, не сумели достойно поддержать Шукшина. И мы говорим о том же, но спокойней и отстраненней; и нас читают, но своим читателем, по-гурмански. Литература после Шукшина вернулась в свое обычное русло, он же умел, не теряя красоты и проникновенности искусства, довести ее до пропагандной остроты и тревоги, до разрушающей всякое равнодушие силы, до аввакумовской страсти.

Нам так нужен был Шукшин — и он пришел, сделал свое дело талантливо и честно, не жалея себя, и, надорвавшись за этим запущенным делом, преждевременно ушел, показав, как необходимо художнику жить, работать и думать во имя народа и правды.

Валентин Григорьевич Распутин (Иркутск) родился в 1937 году. Закончил Иркутский государственный университет. Работал в редакции газеты «Советская молодежь», на телевидении. Автор книг «Край возле самого неба», «Деньги для Марии», «Последний срок», «Живи и помни», «Прощание с Матерой». Член Союза писателей, лауреат Государственной премии СССР.